

Защита Лужина

Автор:

Владимир Набоков

Защита Лужина

Владимир Владимирович Набоков

«Защита Лужина» (1929–1930) – третий русский роман Владимира Набокова, составивший автору громкое литературное имя и выведший его в первый ряд писателей русского зарубежья. За перипетиями жизненной истории гениально одностороннего героя книги, одаренного и безумного русского шахматиста-эмигранта Александра Ивановича Лужина, читателю постепенно открывается постоянная и важнейшая тема набоковского творчества – развитие и повторение тайных тем в человеческой судьбе. Шахматная защита, разрабатываемая Лужиным, мало-помалу становится аллегорией защиты от самой жизни, в которой его травмированное болезнью сознание прозревает чьи-то зловещие действия, подобные шахматным ходам. В событийных повторах собственной биографии Лужин усматривает следствие роковых действий своего невидимого противника – судьбы, и, потерпев неудачу в попытках разгадать ее скрытые узоры, он выбирает единственно возможное решение – выход из игры...

Владимир Набоков

Защита Лужина

1

Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным. Его отец – настоящий Лужин, пожилой Лужин, Лужин, писавший книги, – вышел от него,

улыбаясь, потирая руки, уже смазанные на ночь прозрачным английским кремом, и своей вечерней замшевой походкой вернулся к себе в спальню. Жена лежала в постели. Она приподнялась и спросила: «Ну что, как?» Он снял свой серый халат и ответил: «Обошлось. Принял спокойно. Ух... Прямо гора с плеч». – «Как хорошо... – сказала жена, медленно натягивая на себя шелковое одеяло. – Слава Богу, слава Богу...»

Это было и впрямь облегчение. Все лето – быстрое дачное лето, состоящее в общем из трех запахов: сирень, сенокос, сухие листья, – все лето они обсуждали вопрос, когда и как перед ним открыться, и откладывали, откладывали, дотянули до конца августа. Они ходили вокруг него, с опаской суживая круги, но только он поднимал голову, отец с напускным интересом уже стучал по стеклу барометра, где стрелка всегда стояла на шторме, а мать уплывала куда-то в глубь дома, оставляя все двери открытыми, забывая длинный, неряшливый букет колокольчиков на крышке рояля. Тучная француженка, читавшая ему вслух «Монтекристо» и прерывавшая чтение, чтобы с чувством воскликнуть: «Бедный, бедный Дантес!», предлагала его родителям, что сама возьмет быка за рога, хотя быка этого смертельно боялась. Бедный, бедный Дантес не возбуждал в нем участия, и, наблюдая ее воспитательный вздох, он только щурился и терзал резинкой ватманскую бумагу, стараясь поужаснее нарисовать выпуклость ее бюста.

Через много лет, в неожиданный год просветления, очарования, он с обморочным восторгом вспомнил эти часы чтения на веранде, плывущей под шум сада. Воспоминание пропитано было солнцем и сладко-чернильным вкусом тех лакричных палочек, которые она дробила ударами перочинного ножа и убеждала держать под языком. И обойные гвоздики, которые он однажды положил на плетеное сиденье кресла, предназначенного принять с рассыпчатым потрескиванием ее грузный круп, были в его воспоминании равноценны и солнцу, и шуму сада, и комару, который, присосавшись к его ободранному колену, поднимал в блаженстве рубиновое брюшко. Хорошо, подробно знает десятилетний мальчик свои коленки, – расчесанный до крови волдырь, белые следы ногтей на загорелой коже, и все те царапины, которыми расписываются песчинки, камушки, острые прутики. Комар улетал, избежав хлопка, француженка просила не егозить; с остервенением, скаля неровные зубы – которые столичный дантист обхватил платиновой проволокой, – нагнув голову с завитком на макушке, он чесал, скреб всей пятерней укушенное место, – и медленно, с возрастающим ужасом, француженка тянулась к открытой рисовальной тетради, к невероятной карикатуре.

«Нет, я лучше сам ему скажу, – неуверенно ответил Лужин-старший на ее предложение. – Скажу ему погодя, пускай он спокойно пишет у меня диктовки». «Это ложь, что в театре нет лож, – мерно диктовал он, гуляя взад и вперед по классной. – Это ложь, что в театре нет лож». И сын писал, почти лежа на столе, скаля зубы в металлических лесах, и оставлял просто пустые места на словах «ложь» и «лож». Лучше шла арифметика: была таинственная сладость в том, что длинное, с трудом добытое число, в решительный миг, после многих приключений, без остатка делится на девятнадцать.

Он боялся, Лужин-старший, что, когда сын узнает, зачем так нужны были совершенно безликие Трувор и Синеус, и таблица слов, требующих «ять», и главнейшие русские реки, с ним случится то же, что два года назад, когда, медленно и тяжело, при звуке скрипевших ступеней, стрелявших половиц, передвигаемых сундуков, наполнив собою весь дом, появилась француженка. Но ничего такого не случилось, он слушал спокойно, и когда отец, старавшийся подбирать любопытнейшие, привлекательнейшие подробности, сказал, между прочим, что его, как взрослого, будут звать по фамилии, сын покраснел, заморгал, откинулся навзничь на подушку, открывая рот и мотая головой («Не ерзай так», – опасливо сказал отец, заметив его смущение и ожидая слез), но не расплакался, а вместо этого весь как-то надулся, зарыл лицо в подушку, пукая в нее губами, и вдруг, быстро привстав, – трепанный, теплый, с блестящими глазами, – спросил скороговоркой, будут ли и дома звать его Лужиным.

И теперь, по дороге на станцию, в пасмурный, напряженный день, Лужин-старший, сидя рядом с женой в коляске, смотрел на сына, готовый тотчас же улыбнуться, если тот повернет к нему упрямо отклоненное лицо, и недоумевал, с чего это он вдруг стал «крепенький», как выражалась жена. Сын сидел на передней скамеечке, закутанный в бурый лоден, в матросской шапке, надетой криво, но которую никто на свете сейчас не посмел бы поправить, и глядел в сторону, на толстые стволы берез, которые, крутясь, шли мимо, вдоль канавы, полной их листьев. «Тебе не холодно?» – спросила мать, когда, на повороте к мосту, хлынул ветер, отчего побежала пушистая рябь по серому птичьему крылу на ее шляпе. «Холодно», – сказал сын, глядя на реку. Мать, с мурлыкающим звуком, потянулась было к его плащiku, но, заметив выражение его глаз, отдернула руку и только показала перебором пальцев по воздуху: «Завернись, завернись поплотнее». Сын не шевельнулся. Она, пуча губы, чтобы отлепилась вуалетка ото рта, – постоянное движение, почти тик, – посмотрела на мужа, молча прося содействия. Он тоже был в плаще-лодене, руки в плотных перчатках лежали на клетчатом пледе, который полого спускался и, образовав долину, чуть-чуть поднимался опять, до поясницы маленького Лужина.

«Лужин, – сказал он с деланой веселостью, – а, Лужин?» – и под пледом мягко толкнул сына ногой. Лужин подобрал коленки. Вот крыши изб, густо поросшие ярким мхом, вот знакомый старый столб с полустертой надписью (название деревни и число душ), вот журавль, ведро, черная грязь, белоногая баба. За деревней поехали шагом в гору, и сзади, внизу, появилась вторая коляска, где тесно сидели француженка и экономка, ненавидевшие друг дружку. Кучер чмокнул, лошади опять пустились рысью. Над жнивьем по бесцветному небу медленно летела ворона.

Станция находилась в двух верстах от усадьбы, там, где дорога, гулко и гладко пройдя сквозь еловый бор, пересекала петербургское шоссе и текла дальше, через рельсы, под шлагбаум, в неизвестность. «Если хочешь, пусти марионеток», – льстиво сказал Лужин-старший, когда сын выпрыгнул из коляски и устоял в землю, поводя шеей, которую щипала шерсть лодена. Сын молча взял протянутый гривенник. Из второй коляски грузно выползли француженка и экономка, одна вправо, другая влево. Отец снимал перчатки. Мать, оттягивая вуаль, следила за грудастым носильщиком, забиравшим пледы. Прошел ветер, поднял гривы лошадей, надул малиновые рукава кучера.

Оказавшись один на платформе, Лужин пошел к стеклянному ящику, где пять куколок с голыми висячими ножками ждали, чтобы ожить и завертеться, толчка монеты; но это ожидание было сегодня напрасно, так как автомат оказался испорченным, и гривенник пропал даром. Лужин подождал, потом отвернулся и подошел к краю платформы. Справа, на огромном тюке, сидела девочка и, подперев ладонью локоть, ела зеленое яблоко. Слева стоял человек в крагах, со стеклом в руках, и глядел вдаль, на опушку леса, из-за которого через несколько минут появится предвестник поезда – белый дымок. Спереди, по ту сторону рельс, около бесколесного желтого вагона второго класса, вросшего в землю и превращенного в постоянное человеческое жилье, мужик колот дрова. Вдруг туман слёз скрыл все это, обожгло ресницы, невозможно перенести то, что сейчас будет, – отец с веером билетов в руке, мать, считающая глазами чемоданы, влетающий поезд, носильщик, приставляющий лесенку к площадке вагона, чтобы удобнее было подняться. Он оглянулся. Девочка ела яблоко; человек в крагах смотрел вдаль; все было спокойно. Он дошел, словно гуляя, до конца платформы и вдруг задвигался очень быстро, сбежал по ступеням – битая тропинка, садик начальника станции, забор, калитка, елки – дальше овражек и сразу густой лес.

Сначала он бежал прямо лесом, шурша в папоротнике, скользя на красноватых ландышевых листьях, – и шапка висела сзади на шее, придержанная только резинкой, коленям в шерстяных, уже городских чулках было жарко, – он плакал на бегу, по-детски картаво чертыхаясь, когда ветка хлестала по лбу, – и наконец остановился, присел, запыхавшись, на корточки, так что лоден покрыл ему ноги.

Только сегодня, в день переезда из деревни в город, в день, сам по себе не сладкий, когда дом полон сквозняков и так завидуешь садовнику, который никуда не едет, только сегодня он понял весь ужас перемены, о которой ему говорил отец. Прежние осенние возвращения в город показались счастьем. Ежедневная утренняя прогулка с французенкой – всегда по одним и тем же улицам, по Невскому и кругом, через Набережную, домой, – никогда не повторится. Счастливая прогулка. Иногда ему предлагали начать с Набережной, но он всегда отказывался – не столько потому, что с раннего детства любил привычку, сколько потому, что нестерпимо боялся петропавловской пушки, громового, тяжкого удара, от которого дрожали стекла домов и могла лопнуть перепонка в ухе, – и всегда устраивался так (путем незаметных маневров), чтобы в двенадцать часов быть на Невском, подальше от пушки – выстрел которой настиг бы его у самого дворца, если бы изменился порядок прогулки. Конечно также приятное раздумье после завтрака, на диване, под тигровым одеялом, и ровно в два – молоко в серебряной чашке, придающей молоку такой драгоценный вкус, и ровно в три – катание в открытом ландо. Взамен всего этого было нечто, отвратительное своей новизной и неизвестностью, невозможный, неприемлемый мир, где будет пять уроков подряд и толпа мальчиков, еще более страшных, чем те, которые недавно, в июльский день, на мосту, окружили его, навели жестяные пистолеты, пальнули в него палочками, с которых коварно были сдернуты резиновые наконечники.

В лесу было тихо и сыро. Наплакавшись вдоволь, он поиграл с жуком, нервно поведившим усами, и потом долго его давил камнем, стараясь повторить первоначальный сдобный хруст. Погодя он заметил, что заморосило. Тогда он встал с земли, нашел знакомую тропинку и побежал, спотыкаясь о корни, со смутной, мстительной мыслью: добраться до дому и там спрятаться, провести там зиму, питаясь в кладовой вареньем и сыром. Тропинка, минут десять поюлив в лесу, спустилась к реке, которая была сплошь в кольцах от дождя, и еще через пять минут показался лесопильный завод, мельница, мост, где по щиколку утопаешь в опилках, и дорожка вверх, и через голые кусты сирени – дом. Он прокрался вдоль стены, увидел, что окно гостиной открыто, и, взобравшись около водосточной трубы на зеленый облупленный карниз, перевалился через подоконник. В гостиной он остановился, прислушался. Дагерротип деда, отца

матери, – черные баки, скрипка в руках, – смотрел на него в упор, но совершенно исчез, растворился в стекле, как только он посмотрел на портрет сбоку, – печальная забава, которую он никогда не пропускал, входя в гостиную. Подумав, подвигав верхней губой, отчего платиновая проволока на передних зубах свободно ездил вверх и вниз, он осторожно открыл дверь и, вздрагивая от звонкого эха, слишком поспешно после отъезда хозяев вселившегося в дом, метнулся по коридору и оттуда, по лестнице, на чердак. Чердак был особенный, с оконцем, через которое можно было смотреть вниз, на лестницу, на коричневый блеск ее перил, плавно изгибающихся пониже, теряющихся в тумане. В доме было совершенно тихо. Погодя, снизу, из кабинета отца, донесся заглушенный звон телефона. Звон продолжался с перерывами довольно долго. Потом опять тишина.

Он устроился на ящике. Рядом был такой же ящик, но открытый, и в нем были книги. Дамский велосипед с рваной зеленой сеткой, натянутой вдоль заднего колеса, стоял на голове в углу, между необструганной доской, прислоненной к стене, и огромным баулом. Через несколько минут Лужину стало скучно, как когда горло обвязано фланелью и нельзя выходить. Он потрогал пыльные, серые книги в ящике, оставляя на них черные отпечатки. Кроме книг, был волан с одним пером, большая фотография (военный оркестр), шахматная доска с трещиной и прочие не очень занимательные вещи.

Так прошел час. Он услышал вдруг шум голосов, воющий звук парадной двери и, осторожно выглянув в окошечко, увидел внизу отца, который, как мальчик, взбегал по лестнице и, не добежав до площадки, опять проворно спустился, двигая врозь коленями. Там, внизу, слышались теперь ясно голоса – буфетчика, кучера, сторожа. Через минуту лестница опять ожила, на этот раз быстро поднималась по ней мать, придерживая юбку, но тоже до площадки не дошла, а перегнулась через перила и потом быстро, расставив руки, сошла вниз. Наконец, еще через минуту, все гурьбой поднялись наверх, – блестела лысина отца, птица на шляпе матери колебалась, как утка на бурном пруду, прыгал седой бобр буфетчика; сзади, поминутно перегибаясь через перила, поднимались кучер, сторож и почему-то Акулина-молочница, да еще чернобородый мужик с мельницы, обитатель будущих кошмаров. Он-то, как самый сильный, и понес его с чердака до коляски.

Лужин-старший, Лужин, писавший книги, часто думал о том, что может выйти из его сына. В его книгах, – а все они, кроме забытого романа «Угар», были написаны для отроков, юношей, учеников среднеучебных заведений, и продавались в крепких, красочных переплетах, – постоянно мелькал образ белокурого мальчика, и взбалмошного, и задумчивого, который превращался в скрипача или живописца, не теряя при этом нравственной своей красоты. Едва уловимую особенность, отличавшую его сына от всех тех детей, которые, по его мнению, должны были стать людьми ничем не замечательными (если предположить, что существуют такие люди), он понимал как тайное волнение таланта и, твердо помня, что покойный тесть был композитором (довольно, впрочем, сухим и склонным, в зрелые годы, к сомнительному блистанию виртуозности), он не раз, в приятной мечте, похожей на литографию, спускался ночью со свечой в гостиную, где вундеркинд в белой рубашонке до пят играет на огромном, черном рояле.

Ему казалось, что все должны видеть недюжинность его сына; ему казалось, что, быть может, люди со стороны лучше в ней разбираются, чем он сам. Школа, которую он для сына выбрал, особенно славилась внимательностью к так называемой «внутренней» жизни ученика, гуманностью, вдумчивостью, дружеским проникновением. Преданье говорило, что, в первое время ее существования, учителя в час большой перемены возились с ребятами: физик мял, глядя через плечо, комок снега, математик получал на бегу крепкий мячик в ребра, и сам директор веселым восклицанием поощрял игру. Таких общих игр теперь больше не было, но идиллическая слава осталась. Классным воспитателем сына был учитель словесности, добрый знакомый писателя Лужина и, кстати сказать, недурной лирический поэт, выпустивший сборник подражаний Анакреону. «Забредите, – сказал он в тот день, когда Лужин-старший в первый раз привел сына в школу. – В любой четверг, около двенадцати». Лужин забрел. На лестнице было пусто и тихо. Проходя через зал в учительскую, он услышал из второго класса глухой, многоголосый раскат смеха. Затем, в тишине, шаги его особенно звонко застучали по желтому паркету зала. В учительской у большого стола, покрытого сукном, напоминавшим об экзаменах, сидел воспитатель и писал письмо.

С тех пор как его сын поступил в школу, он с воспитателем еще не говорил и теперь, спустя месяц являясь к нему, был полон щекочущего ожидания, некоторого волнения и робости – всех тех чувств, которые он некогда испытал, когда, юношей в студенческой форме, пришел к редактору, которому недавно послал первую свою повесть. И теперь, как и тогда, вместо слов изумления,

которых он смутно ожидал (как, проснувшись в чужом городе, ожидаешь, еще не раскрыв век, необыкновенного, сияющего утра), вместо всех тех слов, которые он бы с такой охотой сам подсказал, если бы не надежда, что все-таки их дождетя, – он услышал пасмурные, холодноватые слова, доказывавшие, что его сына воспитатель понимает еще меньше, чем он сам. О какой-либо тайной даровитости тот и не обмолвился. Наклонив бледное, бородатое лицо с двумя розовыми выемками по бокам носа, с которого он осторожно снял цепкое пенсне, вытирая глаза ладонью, воспитатель начал говорить первым, сказал, что мальчик мог бы учиться лучше, что мальчик, кажется, не ладит с товарищами, что мальчик мало бегает на переменах... «Способности у мальчика несомненно есть, – сказал воспитатель, покончив манипуляции с глазами, – но наблюдается некоторая вялость». В это мгновение где-то внизу родился звонок, перекинулся наверх, невыносимо пронзительно прошел по всему зданию. После этого были две-три секунды полнейшей тишины, – и вдруг все ожило, зашумело, захлопали крышки парт, зал наполнился говором, топотом. «Большая перемена, – сказал воспитатель. – Если хотите, сойдемте во двор, посмотрите, как резвятся ребята».

Они быстро съезжали по каменной лестнице, обняв балюстраду, скользя подошвами сандалий по отшлифованным краям ступеней. Внизу, в темной тесноте вешалок, переобувались; иные сидели на широких подоконниках, кряхтели, поспешно затягивая шнурки. Вдруг он увидел сына, который, сгорбившись, брезгливо вынимал сапоги из мешочка. Белобрысый мальчик второпях толкнул его, он посторонился и вдруг увидел отца. Отец улыбался ему, держа свой каракулевый колпак и ребром руки выдавливая необходимую бороздку. Лужин прищурился и отвернулся, словно отца не заметил. Присев на пол спиной к отцу, он завозился с сапогами; те, кто успел уже одеться, ступали через него, и он, после каждого толчка, все больше горбился, забивался в сумрак. Когда он наконец вышел – в длинном, сером пальто и каракулевом колпачке (который один и тот же детина постоянно с него смахивал), отец уже стоял у ворот, в том конце двора, и выжидательно смотрел в его сторону. Рядом стоял воспитатель, и когда серый резиновый мяч, которым играли в футбол, подкатился случайно к его ногам, учитель словесности, инстинктивно продолжая очаровательное предание, сделал вид, что хочет его пнуть, неловко потоптался, чуть не потерял галошу и рассмеялся с большим добродушием. Отец поддержал его за локоть, и Лужин-младший, улучив мгновение, вернулся в переднюю, где уже было совсем спокойно и, скрытый вешалками, блаженно зевал швейцар. Через дверное стекло, между чугунных лучей звездообразной решетки, он увидел, как отец вдруг снял перчатку, быстро попрощался с воспитателем и исчез под воротами. Только тогда он выполз опять и, осторожно обходя игравших, пробрался налево, под арку, где были сложены дрова. Там,

подняв воротник, он сел на поленья.

Так он просидел около двухсот пятидесяти больших перемен, до того года, когда он был увезен за границу. Иногда воспитатель неожиданно появлялся из-за угла. «Что ж ты, Лужин, все сидишь кучей? Побегал бы с товарищами». Лужин вставал с дров, выходил из-под арки в четырехугольный задний двор, делал несколько шагов, стараясь найти точку, равноотстоящую от тех трех его одноклассников, которые бывали особенно свирепы в этот час, шарахался от мяча, пущенного чьим-то звучным пинком, и, удостоверившись, что воспитатель далеко, возвращался к дровам. Он избрал это место в первый же день, в тот темный день, когда он почувствовал вокруг себя такую ненависть, такое глумливое любопытство, что глаза сами собой наливались горячей муťou, и все то, на что он глядел – по проклятой необходимости смотреть на что-нибудь, – подвергалось замысловатым оптическим метаморфозам. Страница в голубую клетку застилалась туманом; белые цифры на черной доске то суживались, то расплывались; как будто равномерно удаляясь, становился глуше и неразборчивее голос учителя, и сосед по парте, вкрадчивый изверг с пушкой на щеках, тихо и удовлетворенно говорил: «Сейчас расплачется». Но он не расплакался ни разу, не расплакался даже тогда, когда в уборной, общими усилиями, пытались вогнуть его голову в низкую раковину, где застыли желтые пузыри. «Господа, – сказал воспитатель на одном из первых уроков, – ваш новый товарищ – сын писателя. Которого если вы еще не читали, то прочитайте». И крупными буквами он записал на доске, так нажимая, что из-под пальцев с хрустом крошился мел: «Приключения Антоши, изд. Сильвестрова». В течение двух-трех месяцев после этого Лужина звали Антошей. Изверг с таинственным видом принес в класс книжку и во время урока исподтишка показывал ее другим, многозначительно косясь на Лужина, – а когда урок кончился, стал читать вслух из середины, нарочито коверкая слова. Петрищев, смотревший через его плечо, хотел задержать страницу, и она порвалась. Кребс сказал скороговоркой: «Мой папа говорит, что это писатель очень второго сорта». Громов крикнул: «Пусть Антоша нам вслух почитает!» – «А мы лучше каждому по кусочку дадим», – со вкусом сказал шут класса, после бурной схватки завладевший красно-золотой нарядной книжкой. Страницы рассыпались по всему классу. На одной была картинка – ясноокий гимназист на углу улицы кормит своим завтраком облезлую собаку. На следующий день Лужин нашел ее аккуратно прибитой кнопками к внутренней стороне партовой крышки.

Скоро, впрочем, его оставили в покое, только изредка вспыхивала глупая кличка, но так как он упорно на нее не отзывался, то и она наконец погасла. Лужина перестали замечать, с ним не говорили, и даже единственный тихоня в

классе (какой бывает в каждом классе, как бывает непременно толстяк, силач, остряк) сторонился его, боясь разделить его презренное положение. Этот же тихоня, получивший лет шесть спустя Георгиевский крест за опаснейшую разведку, а затем потерявший руку в пору гражданских войн, стараясь вспомнить (в двадцатых годах сего века), каким был в школе Лужин, не мог себе его представить иначе как со спины, то сидящего перед ним в классе, с растопыренными ушами, то уходящего в конец зала, подальше от шума, то уезжающего домой на извозчике – руки в карманах, большой пегий ранец на спине, валит снег... Он старался забежать вперед, заглянуть ему в лицо, но тот особый снег забвения, снег безмолвный и обильный, сплошной белой мутью застилал воспоминание. И бывший тихоня, теперь беспокойный эмигрант, говорил, глядя на портрет в газете: «Представьте себе, совершенно не помню его лица... Ну совершенно не помню...»

Но Лужин-старший, около четырех посматривавший в окно, видел приближавшиеся сани и лицо сына, как бледное пятнышко. Сын обычно сразу входил к нему в кабинет, целовал воздух, прикоснувшись щекой к его щеке, и сразу поворачивался. «Постой, – говорил отец, – постой. Расскажи, что было сегодня. Вызывали?»

Он жадно смотрел на сына, который отклонял лицо, и ему хотелось взять его за плечи, встряхнуть его, крепко поцеловать в бледную щеку, в глаза, в нежный впалый висок. От маленького Лужина в ту первую школьную зиму трогательно пахло чесноком из-за впрыскиваний мышьяка, прописанных доктором. Платиновую полоску ему сняли, но он, по привычке, продолжал скалиться, подворачивать верхнюю губу. Он был одет в серый английский костюмчик – хлястик сзади, короткие штаны с пуговками пониже колен. Он стоял у письменного стола, балансируя на одной ноге, и отец ничего не смел против его непроницаемой хмурости. Сын уходил, волоча ранец по ковру; Лужин-старший облакачивался на стол, где, в синих школьных тетрадках (прихоть, которую, быть может, оценит будущий биограф), он писал очередную повесть, и прислушивался к монологу в соседней столовой, к голосу жены, уговаривающей тишину выпить какао. «Страшная тишина, – думал Лужин-старший. – Он нездоров, у него какая-то тяжелая душевная жизнь... пожалуй, не следовало отдавать в школу. Но зато нужно же ему привыкнуть к обществу других мальчуганов... Загадка, загадка...»

«Съешь хоть кекса», – горестно продолжал голос за стеной, – и опять тишина. Но изредка происходило ужасное: вдруг, ни с того ни с сего, раздавался другой

голос, визжащий и хриплый, и, как от ураганного ветра, хлопала дверь. Тогда он вскакивал, вбегал в столовую, держа в руке перо, как стрелу. Жена дрожащими руками подбирала со скатерти опрокинутую чашку, блюдечко, смотрела, нет ли трещин. «Я его расспрашивала о школе, – говорила она, не глядя на мужа, – он не хотел отвечать, – а потом, вот... как бешеный...» Они оба прислушивались. Француженка уехала осенью в Париж, и теперь уже никто не знал, что он там делает у себя в комнате. Там обои были белые, а повыше шла голубая полоса, по которой нарисованы были серые гуси и рыжие щенки. Гусь шел на щенка, и опять то же самое, тридцать восемь раз вокруг всей комнаты. На этажерке стоял глобус и чучело белки, купленное когда-то на Вербе. Зеленый паровоз выглядывал из-под воланов кресла. Хорошая была комната, светлая. Веселые обои, веселые вещи.

Были и книги. Книги, сочиненные отцом, в золото-красных, рельефных обложках, с надписью от руки на первой странице: «Горячо надеюсь, что мой сын всегда будет относиться к животным и людям так, как Антоша», – и большой восклицательный знак. Или: «Эту книгу я писал, думая о твоём будущем, мой сын». Эти надписи вызывали в нём смутный стыд за отца, а самые книжки были столь же скучны, как «Слепой музыкант» или «Фрегат „Паллада“». Большой том Пушкина, с портретом толстогубого курчавого мальчика, не открывался никогда. Зато были две книги – обе подаренные ему тетей, – которые он полюбил на всю жизнь, держал в памяти, словно под увеличительным стеклом, и так страстно пережил, что через двадцать лет, снова их перечитав, он увидел в них только суховатый пересказ, сокращенное издание, как будто они отстали от того неповторимого, бессмертного образа, который они в нём оставили. Но не жажда дальних странствий заставляла его следовать по пятам Филеаса Фогга и не ребячливая склонность к таинственным приключениям влекла его в дом на Бэкер стрит, где, впрыснув себе кокаину, мечтательно играл на скрипке долговязый сыщик с орлиным профилем. Только гораздо позже он сам себе уяснил, чем так волновали его эти две книги: правильно и безжалостно развивающийся узор, – Филеас, манекен в цилиндре, совершающий свой сложный изящный путь с оправданными жертвами, то на слоне, купленном за миллион, то на судне, которое нужно наполовину сжечь на топливо; и Шерлок, придавший логике прелесть грезы, Шерлок, составивший монографию о пепле всех видов сигар и с этим пеплом, как с талисманом, пробирающийся сквозь хрустальный лабиринт возможных дедукций к единственному сияющему выводу. Фокусник, которого на Рождестве пригласили его родители, каким-то образом слил в себе на время Фогга и Хольмса, и странное наслаждение, испытанное им в тот день, сгладило все то неприятное, что сопровождало выступление фокусника. Так как просьбы, осторожные, редкие просьбы, «позвать твоих

школьных друзей» не привели ни к чему, Лужин-старший, уверенный, что это будет и весело, и полезно, обратился к двум знакомым, сыновья которых учились в той же школе, а кроме того, пригласил детей дальнего родственника, двух тихих, рыхлых мальчиков и бледную девочку с толстой черной косой. Все приглашенные мальчики были в матросских костюмах и пахли помадой. В двух из них маленький Лужин с ужасом узнал Берсенева и Розена из третьего класса, которые в школе были одеты неряшливо и вели себя бурно. «Ну вот, – радостно сказал Лужин-старший, держа сына за плечо (плечо медленно уходило из-под его ладони). – Теперь вас оставят одних, – познакомьтесь, поиграйте, – а потом позовут, будет сюрприз». Через полчаса он пошел их звать. В комнате было молчание. Девочка сидела в углу и перелистывала, ища картин, приложение к «Ниве». Берсенев и Розен сидели на диване, со сконфуженными лицами, очень красные и напوماженные. Рыхлые племянники бродили по комнате, без любопытства рассматривая английские гравюры на стенах, глобус, белку, давно разбитый педометр, валявшийся на столе. Сам Лужин, тоже в матроске, с белой тесемкой и свистком на груди, сидел на венском стуле у окна и смотрел исподлобья, грызя ноготь большого пальца. Но фокусник все искупил, и даже когда на следующий день Берсенев и Розен, уже настоящие, отвратительные, подошли к нему в школьном зале, низко поклонились, а потом грубо расхохотались и в обнимку, шатаясь, быстро отошли, – даже и тогда эта насмешка не могла нарушить очарование. По его хмурой просьбе, – что бы он ни говорил теперь, брови у него мучительно сходились, – мать привезла ему из Гостиного Двора большой ящик, выкрашенный под красное дерево, и учебник чудес, на обложке которого был господин с медалями на фраке, поднявший за уши кролика. В ящике были шкатулки с двойным дном, палочка, обклеенная звездистой бумагой, колода грубых карт, где фигурные были наполовину короли и валеты, а наполовину овцы в мундирах, складной цилиндр с отделениями, веревочка с двумя деревянными штучками на концах, назначение которых было неясно... И в кокетливых конвертиках были порошки, окрашивающие воду в синий, красный, зеленый цвет. Гораздо занимательнее оказалась книга, и Лужин без труда выучил несколько карточных фокусов, которые он часами показывал самому себе, стоя перед зеркалом. Он находил загадочное удовольствие, неясное обещание каких-то других, еще неведомых наслаждений в том, как хитро и точно складывался фокус, но все же доставало чего-то, он не мог уловить некоторую тайну, в которой, вероятно, был искушен фокусник, хватавший из воздуха рубль или вынимавший задуманную публикой семерку треф из уха смущенного Розена. Сложные приспособления, описанные в книге, его раздражали. Тайна, к которой он стремился, была простота, гармоническая простота, поражающая пуще самой сложной магии.

В письменном отзыве о его успехах, присланном на Рождестве, в отзыве, весьма обстоятельном, где, под рубрикой «Общие замечания», пространно, с плеоназмами, говорилось о его вялости, апатии, сонливости, неповоротливости и где баллы были заменены наречиями, оказалось одно «неудовлетворительно» – по русскому языку – и несколько «едва удовлетворительно» – между прочим, по математике. Однако как раз в это время он необычайно увлекся сборником задач, «веселой математикой», как значилось в заглавии, причудливым поведением чисел, беззаконной игрой геометрических линий – всем тем, чего не было в школьном задачнике. Блаженство и ужас вызывало в нем скольжение наклонной линии вверх по другой, вертикальной, – в примере, указывавшем тайну параллельности. Вертикальная была бесконечна, как всякая линия, и наклонная, тоже бесконечная, скользя по ней и поднимаясь все выше, обречена была двигаться вечно, соскользнуть ей было невозможно, и точка их пересечения, вместе с его душой, неслась вверх по бесконечной стезе. Но при помощи линейки он принуждал их расцепиться: просто чертил их заново, параллельно друг дружке, и чувствовал при этом, что там, в бесконечности, где он заставил наклонную соскочить, произошла невыносимая катастрофа, неизъяснимое чудо, и он подолгу замирал на этих небесах, где сходят с ума земные линии. На время он нашел мнимое успокоение в складных картинах. Это были сперва простые, детские, состоявшие из больших кусков, вырезанных по краю круглыми зубцами, как бисквиты петибер, и сцеплявшихся так крепко, что, сложив картину, можно было поднимать, не ломая, целые части ее. Но в тот год английская мода изобрела складные картины для взрослых – «пузеля», как называли их у Пето, – вырезанные крайне прихотливо: кусочки всех очертаний, от простого кружка (часть будущего голубого неба) до самых затейливых форм, богатых углами, мысками, перешейками, хитрыми выступами, по которым никак нельзя было разобрать, куда они приладутся – пополнят ли они пегую шкуру коровы, уже почти доделанной, является ли этот темный край на зеленом фоне тенью от посоха пастуха, чье ухо и часть темени ясно видны на более откровенном кусочке. И когда постепенно появлялся слева круп коровы, а справа, на зелени, рука с дудкой, и повыше небесной синевой ровно застраивалась пустота, и голубой кружок ладно входил в небосвод, – Лужин чувствовал удивительное волнение от точных сочетаний этих пестрых кусков, образующих в последний миг отчетливую картину. Были головоломки очень дорогие, состоявшие из нескольких тысяч частей; их приносила тетя, веселая, нежная, рыжеволосая тетя, – и он часами склонялся над ломберным столом в зале, проверяя глазами каждый зубчик раньше, чем попробовать, подходит ли он к выемке, и стараясь, по едва заметным приметам, определить заранее сущность картины. Из соседней комнаты, где шумели гости, тетя просила: «Ради Бога, не потеряй ничего!» Иногда входил отец, смотрел на кусочки, протягивал

руку к столу, говорил: «Вот это, несомненно, должно сюда лечь», и тогда Лужин, не оборачиваясь, бормотал: «Глупости, глупости, не мешайте», – и отец, осторожно прикоснувшись губами к его хохолку, уходил, – мимо позолоченных стульев, мимо обширного зеркала, мимо копии с купающейся Фрины, мимо рояля, большого безмолвного рояля, подкованного толстым стеклом и покрытого парчовой попоной.

3

Только в апреле, на пасхальных каникулах, наступил для Лужина тот неизбежный день, когда весь мир вдруг потух, как будто повернули выключатель, и только одно, посреди мрака, было ярко освещено, новорожденное чудо, блестящий островок, на котором обречена была сосредоточиться вся его жизнь. Счастье, за которое он уцепился, остановилось; апрельский этот день замер навеки, и где-то, в другой плоскости, продолжалось движение дней, городская весна, деревенское лето, – смутные потоки, едва касавшиеся его.

Началось это невинно. В годовщину смерти тестя Лужин-старший устроил у себя на квартире музыкальный вечер. Сам он в музыке разбирался мало, питал тайную, постыдную страсть к «Травиате», на концертах слушал рояль только вначале, а затем глядел, уже не слушая, на руки пианиста, отражавшиеся в черном лаке. Но музыкальный вечер с исполнением вещей покойного тестя пришлось устроить поневоле: уж слишком молчали газеты – забвение было полное, тяжелое, безнадежное, – и жена с дрожащей улыбкой повторяла, что это все интриги, интриги, интриги, что и при жизни завидовали дару ее отца, что теперь хотят замолчать его славу. В открытом черном платье, в чудесном бриллиантовом ошейнике, с постоянным выражением сонной ласковости на пухлом, белом лице, она принимала гостей тихо, без восклицаний, нашептывая что-то быстрое, нежное по звуку, и, втайне шалея от застенчивости, все время искала глазами мужа, который подвигался туда-сюда мелкими шажками, с выпирающим из жилета крахмальным панцирем, добродушный, осторожный, с первыми робкими потугами на маститость. «Опять вышла нагишом», – со вздохом сказал издатель художественного журнала, взглянув мимоходом на Фрину, которая, благодаря усиленному освещению, была особенно ярка. Тут маленький Лужин попался ему под ноги и был поглажен по голове. Лужин попятился. «Какой он у вас стал огромный», – сказал дамский голос сзади. Он

спрятался за чей-то фрак. «Нет, позвольте, позвольте, – загремело над его головой. – Нельзя же предъявлять таких требований к нашей печати». Вовсе не огромный, а, напротив, очень маленький для своих лет, он ходил между гостей, стараясь найти тихое место. Иногда кто-нибудь ловил его за плечо, спрашивал ерунду. В зале было тесно от золоченых стульев, которые поставили рядами. Кто-то осторожно вносил в дверь нотный пюпитр.

Незаметными переходами Лужин пробрался в отцовский кабинет, где было темно, и сел в угол, на оттоманку. Из далекой залы, через две комнаты, доносился нежный вой скрипки.

Он сонно слушал, обняв колени и глядя на кисейный просвет меж неплотно задвинутых штор, в котором лиловой белизной горел над улицей газовый фонарь. По потолку изредка таинственной дугой проходил легкий свет, и на письменном столе была блестящая точка – неизвестно что: блик ли в тяжелом хрустальном яйце или отражение в стекле фотографии. Он чуть было не задремал и вдруг вздрогнул оттого, что на столе зазвонил телефон, и сразу стало ясно, что блестящая точка – на телефонной вилке. Из столовой вошел буфетчик, включил на ходу свет, озаривший лишь письменный стол, приложил трубку к уху и, не заметив Лужина, опять вышел, осторожно положив трубку на кожаный бювар. Через минуту он вернулся, сопровождая господина, который, попав в круг света, схватил со стола трубку, другой рукой нащупал сзади себя спинку кресла. Слуга прикрыл за собой дверь, заглушив далекий перелив музыки. «Я слушаю», – сказал господин. Лужин из темноты смотрел на него, боясь двинуться и смущенный тем, что совершенно чужой человек так удобно расселся у отцовского стола. «Нет, я уже отыграл», – сказал он, глядя вверх и что-то трогая на столе белой беспокойной рукой. Извозчик глухо процокал по торцам. «Вероятно», – сказал господин. Лужин видел его профиль, нос из слоновой кости, блестящие черные волосы, густую бровь.

«Я, собственно говоря, не знаю, почему ты мне сюда звонишь, – тихо сказал он, продолжая теревить что-то на столе. – Если только для того, чтобы проверить...» «Чудачка», – рассмеялся он и стал равномерно покачивать ногой в лакированной туфле. Потом он очень ловко подложил трубку между ухом и плечом и, изредка отвечая «да», «нет», «может быть», взял в обе руки то, что он на столе потрагивал. Это был небольшой гладкий ящик, который на днях кто-то подарил отцу. Лужин еще не успел посмотреть, что внутри, и теперь с любопытством следил за руками господина. Но тот не сразу открыл ящик. «И я тоже, – сказал он. – Много раз, много раз. Спокойной ночи, девочка». Повесив трубку, он

вздыхнул и открыл ящик. Однако он так повернулся, что из-за его черного плеча Лужин ничего не видел. Он осторожно подвинулся, но на пол соскользнула подушка, и господин быстро оглянулся. «Ты что тут делаешь? – спросил он, в темном углу разглядев Лужина. – Ай-ай, как нехорошо подслушивать!» Лужин молчал. «Как тебя зовут?» – дружелюбно спросил господин. Лужин сполз с дивана и подошел. В ящике тесно лежали резные фигуры. «Отличные шахматы, – сказал господин. – Папа играет?» – «Не знаю», – сказал Лужин. «А ты сам умеешь?» Лужин покачал головой. «Вот это напрасно. Надо научиться. Я в десять лет уже здорово играл. Тебе сколько?»

Осторожно открылась дверь. Вошел Лужин-старший – на цыпочках. Он приготовился к тому, что скрипач еще говорит по телефону, и думал очень деликатно прошептать: «Продолжайте, продолжайте, а когда кончите, публика очень просит еще чего-нибудь». «Продолжайте, продолжайте», – сказал он по инерции и, увидев сына, запнулся. «Нет, нет, уже готово, – ответил скрипач, вставая. – Отличные шахматы. Вы играете?» – «Неважно», – сказал Лужин-старший. («Ты что же тут делаешь? Иди тоже послушать музыку...») «Какая игра, какая игра, – сказал скрипач, бережно закрывая ящик. – Комбинации как мелодии. Я, понимаете ли, просто слышу ходы». – «По-моему, для шахмат нужно иметь большие математические способности, – быстро сказал Лужин-старший. – У меня на этот счет... Вас ждут, маэстро». – «Я бы лучше партишку сыграл, – засмеялся скрипач, идя к двери. – Игра богов. Бесконечные возможности». – «Очень древнее изобретение, – сказал Лужин-старший и оглянулся на сына. – Ну, что же ты? Иди же!» Но Лужин, не доходя до зала, ухитрился застрять в столовой, где был накрыт стол с закусками. Там он взял тарелку с сэндвичами и унес ее к себе в комнату. Он ел, раздеваясь, потом ел в постели. Когда он уже потушил, к нему заглянула мать, нагнулась над ним, блеснув в полутьме бриллиантами на шее. Он притворился, что спит. Она ушла и долго-долго, чтобы не стукнуть, закрывала дверь.

Он проснулся на следующее утро с чувством непонятого волнения. Было ярко, ветрено, мостовые отливали лиловым блеском; близ Дворцовой Арки над улицей упруго надувалось огромное трехцветное полотно, сквозь которое тремя разными оттенками просвечивало небо. Как всегда в праздничные дни, он вышел гулять с отцом, но это не были прежние детские прогулки: полуденная пушка уже не пугала, и невыносим был разговор отца, который, придравшись ко вчерашнему вечеру, намекал на то, что хорошо бы начать заниматься музыкой. За завтраком был последний остаток сливочной пасхи (приземистая пирамидка с сероватым налетом на круглой макушке) и еще не початый кулич. Тетя, все та же милая рыжеволосая тетя, троюродная сестра матери, была весела

чрезвычайно, кидалась крошками и рассказала, что Латам за двадцать пять рублей прокатит ее на своей «Антуанете», которая, впрочем, пятый день не может подняться, между тем как Вуазен летает как заводной, кругами, да притом так низко, что, когда он кренится над трибунами, видна даже вата в ушах у пилота. Лужин почему-то необыкновенно ясно запомнил это утро, этот завтрак, как запоминаешь день, предшествующий далекому пути. Отец говорил, что хорошо бы после завтрака поехать на острова, где поляны сплошь в анемонах, и, пока он говорил, тетя попала ему крошкой прямо в рот. Мать молчала, – и вдруг, после второго блюда, встала и, стараясь скрыть дрожащее лицо, повторяя шепотом, что «это ничего, ничего, сейчас пройдет», – поспешно вышла. Отец бросил салфетку на стол и вышел тоже. Лужин никогда не узнал, что именно случилось, но, проходя с тетей по коридору, слышал из спальни матери тихое всхлипывание и увещающий голос отца, который громко повторял слово «фантазия».

«Уйдем куда-нибудь», – зашептала тетя, красная, притихшая, с бегающими глазами, – и они оказались в кабинете, где над кожаным креслом проходил конус лучей, в котором вертелись пылинки. Она закурила, и в этих лучах мягко и призрачно закачались складки дыма. Это был единственный человек, в присутствии которого он не чувствовал себя стесненным, и сейчас было особенно хорошо: странное молчание в доме и как будто ожидание чего-то. «Ну, будем играть во что-нибудь, – поспешно сказала тетя и взяла его сзади за шею. – Какая у тебя тоненькая шея, одной рукой можно...» – «Ты в шахматы умеешь?» – вкрадчиво спросил Лужин и, высвободив голову, приятно потерся щекой об ее васильковый шелковый рукав. «Лучше в дураки», – сказала она рассеянно. Где-то хлопнула дверь. Она поморщилась и, повернув лицо в сторону звука, прислушалась. «Нет, я хочу в шахматы», – сказал Лужин. «Сложно, милый, сразу не научишь». Он пошел к письменному столу, отыскал ящик, стоявший за портретом. Тетя встала, чтобы взять пепельницу, в раздумье напевая окончание какой-то своей мысли: «Это было бы ужасно, это было бы ужасно...» «Вот», – сказал Лужин и опустил ящик на низенький турецкий столик с инкрустациями. «Нужно еще доску, – сказала она. – И знаешь, я тебя лучше научу в поддавки, это проще». – «Нет, в шахматы», – сказал Лужин и развернул клеенчатую доску.

«Сперва расставим фигуры, – начала тетя со вздохом. – Здесь белые, там черные. Король и королева рядышком. Вот это – офицеры. Это – коньки. А это – пушки, по краям. Теперь...» Она вдруг замерла, держа фигуру на весу и глядя на дверь. «Постой, – сказала она беспокоино. – Я, кажется, забыла платок в столовой. Я сейчас приду». Она открыла дверь, но тотчас вернулась. «Пускай, – сказала она и опять села на свое место. – Нет, не расставляй без меня, ты

напутаешь. Это называется – пешка. Теперь смотри, как они все двигаются. Конек, конечно, скачет». Лужин сидел на ковре, плечом касаясь ее колена, и глядел на ее руку в тонком платиновом браслете, которая поднимала и ставила фигуры. «Королева самая движущаяся», – сказал он с удовольствием и пальцем поправил фигуру, которая стояла не совсем посреди квадрата. «А едят они так, – говорила тетя. – Как будто, понимаешь, вытесняют. А пешки так: бочком. Когда можно взять короля, это называется шах; когда ему некуда сунуться, это – мат. Ты должен, значит, взять моего короля, а я твоего. Видишь, как это все долго объяснять. Может быть, в другой раз сыграем, а?» – «Нет, сейчас», – сказал Лужин и вдруг поцеловал ее руку. «Ах ты, милый, – протянула тетя, – откуда такие нежности... Хороший ты все-таки мальчик». – «Пожалуйста, будем играть», – сказал Лужин и, пройдя по ковру на коленках, стал так перед столиком. Но она вдруг поднялась с места, да так резко, что задела юбкой доску и смахнула несколько фигур. В дверях стоял его отец.

«Уходи к себе», – сказал он, мельком взглянув на сына. Лужин, которого в первый раз в жизни выгоняли из комнаты, остался от удивления, как был, на коленях. «Ты слышал?» – сказал отец. Лужин сильно покраснел и стал искать на ковре упавшие фигуры. «Побыстрее», – сказал отец громовым голосом, каким он не говорил никогда. Тетя стала торопливо, кое-как, класть фигуры в ящик. Руки у нее дрожали. Одна пешка никак не хотела влезть. «Ну, бери, бери, – сказала она, – бери же!» Он медленно свернул клеенчатую доску и, с темным от обиды лицом, взял ящик. Дверь он не мог прикрыть за собой, так как обе руки были заняты. Отец быстро шагнул и так грохнул дверью, что Лужин уронил доску, которая сразу развернулась; пришлось поставить на пол ящик и свертывать ее опять. За дверью, в кабинете, сперва было молчание, затем – скрип кресла, принявшего тяжесть, и прерывистый вопросительный шепот тети. Лужин брезгливо подумал, что нынче все в доме сошли с ума, и пошел к себе в комнату. Там он сразу расставил фигуры, как показывала тетя, долго смотрел на них, соображая что-то; после чего очень аккуратно сложил их в ящик. С этого дня шахматы остались у него, и отец долго не замечал их отсутствия. С этого дня появилась в его комнате обольстительная, таинственная игрушка, пользоваться которой он еще не умел. С этого дня тетя никогда больше не приходила к ним в гости.

Как-то, через несколько дней, между первым и третьим уроком оказалось пустое место: простудился учитель географии. Когда прошло минут пять после звонка и никто еще не входил, наступило такое предчувствие счастья, что, казалось, сердце не выдержит, если все-таки стеклянная дверь сейчас откроется и географ, по привычке своей почти бегом, влетит в класс. Одному Лужину было

все равно. Низко склоняясь над партой, он чинил карандаш, стараясь сделать кончик острым как игла. Нарастал взволнованный шум. Счастье, как будто, должно было сбыться. Иногда, впрочем, бывали невыносимые разочарования: вместо заболевшего учителя вползал маленький, хищный математик и, беззвучно прикрыв дверь, со злорадной улыбкой начинал выбирать кусочки мела из желоба под черной доской. Но прошло полных десять минут, и никто не являлся. Шум разросся. Кто-то, от избытка счастья, хлопнул крышкой парты. Сразу из неизвестности возник воспитатель. «Совершенная тишина, – сказал он. – Чтоб была совершенная тишина. Валентин Иванович болен. Займитесь каким-нибудь делом. Но чтоб была совершенная тишина». Он ушел. За окном сияли большие, рыхлые облака, и что-то журчало, капало, попискивали воробьи. Блаженный час, очаровательный час. Лужин стал равнодушно чинить еще один карандаш. Громов рассказывал что-то хриплым голосом, со вкусом произнося странные, непристойные словечки. Петрищев умолял всех объяснить ему, почему мы знаем, что они равняются двум прямым. И вдруг Лужин отчетливо услышал за своей спиной особый, деревянно-рассыпчатый звук, от которого стало жарко и невпопад стукнуло сердце. Он осторожно обернулся. Кребс и единственный тихоня в классе проворно расставляли маленькие, легкие фигуры на трехвершковой шахматной доске. Доска была на скамье между ними. Они сидели очень неудобно, боком. Лужин, забыв дочинить карандаш, подошел. Игроки его не заметили. Тихоня, когда, много лет спустя, старался вспомнить своего однокашника, никогда не вспомнил этой случайной шахматной партии, сыгранной в пустой час. Путая даты, он извлекал из прошлого смутное впечатление о том, что Лужин когда-то кого-то в школе обыграл, чесалось что-то в памяти, но добраться было невозможно.

«Тура летит», – сказал Кребс. Лужин, следя за его рукой, с мгновенным паническим содроганием подумал, что тетя назвала ему не все фигуры. Но тура оказалась синонимом пушки. «Я просто не заметил», – сказал другой. «Бог с тобой, переиграй», – сказал Кребс.

С раздражающей завистью, с зудом неудовлетворенности глядел Лужин на их игру, стараясь понять, где же те стройные мелодии, о которых говорил музыкант, и неясно чувствуя, что каким-то образом он ее понимает лучше, чем эти двое, хотя совершенно не знает, как она должна вестись, почему это хорошо, а то плохо, и как надобно поступать, чтобы без потерь проникнуть в лагерь чужого короля. И был один прием, очень ему понравившийся, забавный своей ладностью: фигура, которую Кребс назвал турой, и его же король вдруг перепрыгнули друг через друга. Он видел затем, как черный король, выйдя из-за своих пешек (одна была выбита, как зуб), стал растерянно шагать туда и сюда.

«Шах, – говорил Кребс, – шах, – (и ужаленный король прыгал в сторону), – сюда не можешь, и сюда тоже не можешь. Шах, беру королеву, шах». Тут он сам прозевал фигуру и стал требовать ход обратно. Изверг класса одновременно щелкнул Лужина в затылок, а другой рукой сбил доску на пол. Второй раз Лужин замечал, что за валкая вещь шахматы.

И на следующее утро, еще лежа в постели, он принял неслыханное решение. В школу он обыкновенно ездил на извозчике, всегда, кстати сказать, старательно изучая номер, разделяя его особым образом, чтобы поудобнее упаковать его в памяти и вынуть его оттуда в целости, если будет нужно. Но сегодня он до школы не доехал, номера от волнения не запомнил и, боязливо озираясь, вышел на Караванной, а оттуда, кружными путями, избегая школьного района, пробрался на Сергиевскую. По дороге ему попался как раз учитель географии, который, сморкаясь и харкая на ходу, огромными шагами, с портфелем под мышкой, неся по направлению к школе. Лужин так резко отвернулся, что тяжело звякнул таинственный предмет в ранце. Только когда учитель, как слепой ветер, промчался мимо, Лужин заметил, что стоит перед парикмахерской витриной и что завитые головы трех восковых дам с розовыми ноздрями в упор глядят на него. Он перевел дух и быстро пошел по мокрому тротуару, бессознательно стараясь делать такие шаги, чтобы каждый раз каблук попадал на границу плиты. Но плиты были все разной ширины, и это мешало ходьбе. Тогда он сошел на мостовую, чтобы избавиться от соблазна, пошел вдоль самой панели, по грязи. Наконец он завидел нужный ему дом, сливовый, с голыми стариками, напряженно поддерживающими балкон, и с расписными стеклами в парадных дверях. Он свернул в ворота, мимо убеленной голубями тумбы, и, прошмыгнув через двор, где двое с засученными рукавами мыли ослепительную коляску, поднялся по лестнице и позвонил. «Еще спят, – сказала горничная, глядя на него с удивлением. – Побудьте, что ли, вот тут. Я им погода доложу». Лужин деловито свалил ранец с плеч, положил его подле себя на стол, где была фарфоровая чернильница, бисером расшитый бювар и незнакомая фотография отца (в одной руке книга, палец другой прижат к виску), и от нечего делать стал считать, сколько разных красок на ковре. В этой комнате он побывал только однажды, – когда, по совету отца, отвез тете на Рождестве большую коробку шоколадных конфет, половину которых он съел сам, а остальные разложил так, чтобы не было заметно. Тетя еще недавно бывала у них ежедневно, а теперь перестала, и было что-то такое в воздухе, какой-то неуловимый запрет, который мешал дома об этом спрашивать. Насчитав девять оттенков, он перевел глаза на шелковую ширму, где вышиты были камыши и аисты. Только он стал соображать, есть ли такие же аисты и на другой стороне, как наконец вошла тетя – непричесанная, в цветистом халате, с рукавами как крылья. «Ты откуда? –

воскликнула она. – А школа? Ах ты, смешной мальчик...»

Часа через два он вышел опять на улицу. Ранец, теперь пустой, был так легкий, что прыгал на лопатках. Надо было как-нибудь провести время до часа обычных возвращений. Он побрел в Таврический сад, и пустота в ранце постепенно стала его раздражать. Во-первых, то, что он из предосторожности оставил у тети, могло как-нибудь пропасть до следующего раза; во-вторых, оно бы пригодилось ему дома по вечерам. Он решил, что впредь будет поступать иначе.

«Семейные обстоятельства», – ответил он на следующий день воспитателю, который мимоходом понаведался, почему он не был в школе. В четверг он ушел из школы раньше и пропустил подряд три дня, после чего объяснил, что болело горло. В среду был рецидив. В субботу он опоздал на первый урок, хотя выехал из дома раньше обыкновенного. В воскресенье он поразил мать сообщением, что приглашен к товарищу, и отсутствовал часов пять. В среду распустили раньше (это был один из тех чудесных дней, голубых, пыльных, в самом конце апреля, когда уже роспуск так близок и такая одолевает лень), но вернулся-то он домой гораздо позже обычного. А потом была уже целая неделя отсутствия, – упоительная, одуряющая неделя. Воспитатель позвонил к нему на дом, узнать, что с ним. К телефону подошел отец.

Когда Лужин около четырех вернулся домой, у отца было лицо серое, глаза выпученные, а мать точно лишилась языка, задыхалась, а потом стала странно хохотать, с завыванием, с криками. После минуты замешательства отец молча повел его в кабинет и, сложив руки на груди, попросил объяснить. Лужин, с тяжелым, драгоценным ранцем под мышкой, уставился в пол, соображая, способна ли тетя на предательство. «Изволь мне объяснить», – повторил отец. На предательство она не может быть способна, да и откуда ей узнать, что он попался. «Отказываешься?» – спросил отец. Кроме того, ей как будто даже нравилось, что он пропускает школу. «Ну, послушай, – сказал отец примирительно, – давай говорить как друзья». Лужин со вздохом сел на ручку кресла, продолжая глядеть в пол. «Как друзья, – еще примирительнее повторил отец. – Вот, значит, оказывается, что ты несколько раз пропускал школу. И вот, мне хотелось бы знать, где ты был, что делал. Я даже понимаю, что, например, прекрасная погода и тянет гулять». – «Да, тянет», – равнодушно сказал Лужин, которому становилось скучно. Отец захотел узнать, где он гулял и давно ли у него такая потребность гулять. Затем он упомянул о том, что у каждого человека есть долг, долг гражданина, семьянина, солдата, а также школьника. Лужин зевнул. «Иди к себе», – безнадежно сказал отец и, когда тот вышел,

долго стоял посреди кабинета и с тупым ужасом смотрел на дверь. Жена, слушавшая из соседней комнаты, вошла, села на край оттоманки и опять разрыдалась. «Он обманывает, – повторяла она, – как и ты обманываешь. Я окружена обманом». Он только пожал плечами и подумал о том, как грустно жить, как трудно исполнять долг, не встречаться, не звонить, не ходить туда, куда тянет неудержимо... а тут еще с сыном... эти странности... это упрямство... Грусть, грусть, да и только.

4

В бывшем кабинете деда, где даже в самые жаркие дни была могильная сырость, сколько бы ни открывали окна, выходившие прямо в тяжелую, темную хвою, такую пышную и запутанную, что невозможно было сказать, где кончается одна ель, где начинается другая, – в этой нежилой комнате, где на голом письменном столе стоял бронзовый мальчик со скрипкой, – был незапертый книжный шкаф и в нем толстые тома вымершего иллюстрированного журнала. Лужин быстро перелистывал их, добираясь до той страницы, где, между стихотворением Коринфского, увенчанном арфообразной виньеткой, и отделом смеси со сведениями о передвигающихся болотах, американских чудаках и длине человеческих кишок, была гравирована шахматная доска. Никакие картины не могли удержать руку Лужина, листавшую том, – ни знаменитый Ниагарский водопад, ни голодающие индусские дети, толстопузые скелетики, ни покушение на испанского короля. Жизнь с поспешным шелестом проходила мимо, и вдруг остановка – заветный квадрат, этюды, дебюты, партии.

В начале летних каникул очень доставало тети и старика с цветами, – особенно этого душистого старика, пахнувшего то фиалкой, то ландышем, в зависимости от тех цветов, которые он приносил тете. Приходил он обыкновенно очень удачно, – через несколько минут после того, как тетя, посмотрев на часы, уходила из дому. «Что ж, подождем», – говорил старик, снимая мокрую бумагу с букета, и Лужин придвигал ему кресло к столику, где уже расставлены были шахматы. Появление старика с цветами было выходом из довольно неловкого положения. После трех-четырех школьных пропусков обнаружилась неспособность тети играть в шахматы. Ее фигуры сбивались в безобразную кучу, откуда вдруг выскакивал обнаженный беспомощный король. Старик же играл божественно. Первый раз, когда тетя, натягивая перчатки, скороговоркой сказала: «Я, к сожалению, должна уйти, но вы посидите, сыграйте в шахматы с

моим племянником, спасибо за чудные ландыши», – в первый раз, когда старик сел и сказал со вздохом: «Давненько не брал я в руки... ну-с, молодой человек, – левую или правую?» – в первый этот раз, когда через несколько ходов уже горели уши и некуда было сунуться, – Лужину показалось, что он играет совсем в другую игру, чем та, которой его научила тетя. Благоухание оведало доску. Старик называл королеву ферзем, туру – ладьей и, сделав смертельный для противника ход, сразу брал его назад, и, словно вскрывая механизм дорогого инструмента, показывал, как противник должен был сыграть, чтобы предотвратить беду. Первые пятнадцать партий он выиграл без всякого труда, ни минуты не думая над ходом, во время шестнадцатой он вдруг стал думать и выиграл с трудом, в последний же день, в тот день, когда старик приехал с целым кустом сирени, который некуда было поставить, а тетя на цыпочках бегала у себя в спальне и потом, вероятно, ушла черным ходом, – в этот последний день, после долгой, волнующей борьбы, во время которой у старика открылась способность сопеть, Лужин что-то постиг, что-то в нем освободилось, прояснилось, пропала близорукость мысли, от которой мучительной мутью заволакивались шахматные перспективы. «Ну, что ж, ничья», – сказал старик. Он двинул несколько раз туда и сюда ферзем, как двигаешь рычагом испортившейся машины, и повторил: «Ничья. Вечный шах». Лужин попробовал тоже, не действует ли рычаг, потеревил, потеревил и напыжился, глядя на доску. «Далеко пойдете, – сказал старик. – Далеко пойдете, если будете продолжать в том же духе. Большие успехи. Первый раз вижу... Очень, очень далеко...»

Он же ему объяснил нехитрую систему обозначений, и Лужин, разыгрывая партии, приведенные в журнале, вскоре открыл в себе свойство, которому однажды позавидовал, когда отец за столом говорил кому-то, что он-де не может понять, как тесть его часами читал партитуру, слышал все движения музыки, пробегая глазами по нотам, иногда улыбаясь, иногда хмурясь, иногда на минуту возвращаясь назад, как делает читатель, проверяющий подробность романа – имя, время года. «Большое, должно быть, удовольствие, – говорил отец, – воспринимать музыку в натуральном ее виде». Подобное удовольствие Лужин теперь начал сам испытывать, пробегая глазами по буквам и цифрам, обозначавшим ходы. Сперва он научился разыгрывать партии, – бессмертные партии, оставшиеся от прежних турниров, – беглым взглядом скользил по шахматным нотам и беззвучно переставлял фигуры на доске. Случалось, что после какого-нибудь хода, отмеченного восклицанием или вопросом, смотря по тому, хорошо или худо было сыграно, следовало несколько серий ходов в скобках, ибо примечательный ход разветвлялся подобно реке, и каждый рукав надобно было проследить до конца, прежде чем возвратиться к главному руслу.

Эти побочные, подразумеваемые ходы, объяснявшие суть промаха или провидения, Лужин мало-помалу перестал воплощать на доске и угадывал их гармонию по чередовавшимся знакам. Точно так же уже однажды разыгранную партию он мог просто перечесть, не пользуясь доской: это было тем более приятно, что не приходилось возиться с шахматами, ежеминутно прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь; дверь, правда, он запирает на ключ, отпирает ее нехотя, после того как медная ручка много раз опускалась, – и отец, приходивший посмотреть, что он делает в сырой, нежилой комнате, находил сына беспокойного и хмурого, с красными ушами; на столе лежали тома журнала, и Лужин-старший охвачен бывал подозрением, не ищет ли в них сын изображений голых женщин. «Зачем ты запираешь дверь? – спрашивал он (и маленький Лужин втягивал голову в плечи, с ужасающей ясностью представляя себе, как вот-вот, сейчас, отец заглянет под диван и найдет шахматы). – Тут прямо ледяной воздух. И что же интересного в этих старых журналах? Пойдем-ка посмотреть, нет ли красных грибов под елками».

Были красные грибы, были. К мокрой, нежно-кирпичного цвета шапке прилипали хвойные иглы, иногда травинка оставляла на ней длинный, тонкий след. Испод бывал дырявый, на нем сидел порою желтый слизень, – и с толстого, пятнисто-серого корня Лужин-старший ножичком счищал мох и землю, прежде чем положить гриб в корзину. Сын шел за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, как старичок, и не только грибов не искал, но даже отказывался смотреть на те, которые с довольным кряканием откапывал отец. И иногда, в конце аллеи, полная и бледная, в своем печальном белом платье, не шедшем ей, появлялась мать и спешила к ним, попадая то в солнце, то в тень, и сухие листья, которые никогда не переводятся в северных рощах, шуршали под ее белыми туфлями на высоких, слегка скривившихся каблуках. И как-то в июле, на лестнице веранды, она поскользнулась и вывихнула ногу, и долго потом лежала – то в полутемной спальне, то на веранде, – в розовом капоте, напудренная, и рядом, на столике, стояла серебряная вазочка с бульдегомами. Нога скоро поправилась, но она осталась лежать, как будто решив, что так ей суждено, что именно это жизнью ей предназначено. А лето было необыкновенно жаркое, комары не давали покоя, с реки день-деньской раздавались визги купавшихся девиц, и в один такой томный день, рано утром, когда еще слепни не начали мучить черной пахучей мазью испачканную лошадь, Лужин-старший уехал на весь день в город. «Пойми же наконец. Мне необходимо повидаться с Сильвестровым, – говорил он накануне, расхаживая по спальне в своем мышиного цвета халате. – Какая ты, право, странная. Ведь это важно. Я сам предпочел бы остаться». Но жена продолжала лежать, уткнувшись лицом в подушку, и ее толстая, беспомощная спина вздрагивала. Все же он утром

уехал, – и сын, стоя в саду, видел, как над зубчатым рядом елочек, отгораживавших сад от дороги, несся бюст кучера и шляпа отца.

Он в этот день затосковал. Все партии в старом журнале были изучены, все задачи решены, и приходилось играть самому с собой, а это безнадежно кончалось разменом всех фигур и вялой ничьей. И было невыносимо жарко. От веранды на яркий песок ложилась черная треугольная тень. Аллея была вся пятнистая от солнца, и эти пятна принимали, если прищуриться, вид ровных, светлых и темных, квадратов. Под скамейкой тень распласталась резкой решеткой. Каменные столбы с урнами, стоявшие на четырех углах садовой площадки, угрожали друг другу по диагонали. Реяли ласточки, полетом напоминая движение ножниц, быстро вырезающих что-то. Не зная, что делать с собой, он побрел по тропинке вдоль реки, а за рекой был веселый визг и мелькали голые тела. Он стал за ствол дерева, украдкой, с бьющимся сердцем, вглядываясь в это белое мелькание. Птица прошумела в ветвях, и он испугался, быстро пошел назад, прочь от реки. Завтракал он один с экономкой, молчаливой, желтолицей старухой, от которой всегда шел легкий кофейный запах. Затем, валяясь на диване в гостиной, он сонно слушал всякие легкие звуки, то крик иволги в саду, то жужжание шмеля, влетевшего в окно, то звон посуды на подносе, который несли вниз из спальни матери, – и эти сквозные звуки странно преображались в его полусне, принимали вид каких-то сложных светлых узоров на темном фоне, и, стараясь распутать их, он уснул. Его разбудила горничная, посланная матерью... В спальне было темновато и уныло; мать привлекла его к себе, но он так напрягся, так отворачивался, что пришлось его отпустить. «Ну, расскажи мне что-нибудь», – сказала она тихо. Он пожал плечами, ковыряя пальцем колено. «Ничего не хочешь рассказать?» – спросила она еще тише. Он посмотрел на ночной столик, положил в рот бульдегом и стал его сосать, – взял второй, третий, еще и еще, пока рот не наполнился сладкими, глухо стукавшимися шарами. «Бери, бери сколько хочешь», – шептала она и, выпростав руку, старалась как-нибудь его погладить. «Ты совсем не загорел в этом году, – сказала она погодя. – А может быть, я просто не вижу, тут такой мертвый свет, все синее. Подними жалюзи, пожалуйста. Или нет, постой, останься. Потом». Дососав бульдегомы, он справился, можно ли ему уходить. Она спросила, что он сейчас будет делать, не хочет ли он поехать на станцию к семичасовому поезду встречать отца. «Отпустите меня, – сказал он. – У вас пахнет лекарством».

По лестнице он попробовал съехать, как делалось в школе, как он сам никогда в школе не делал; но ступени были слишком высокие. Под лестницей, в шкафу, еще не до конца исследованном, он поискал журналов. Журнал он выкопал,

нашел в нем шашечный отдел, глупые неповоротливые плоски, тупо стоявшие на доске, но шахмат не было. Под руку все попадался альбом-гербарий с сухими эдельвейсами и багровыми листьями и с надписями детским, тоненьким, бледно-лиловым почерком, столь непохожим на теперешний почерк матери: Давос, 1885 г.; Гатчина, 1886 г. Он в сердцах стал выдирать листья и цветы и зачихал от мельчайшей пыли, сидя на корточках среди разбросанных книг. Потом стало так темно под лестницей, что уже страницы журнала, который он снова перелистывал, стали сливаться в серую муть, и иногда какая-нибудь небольшая картинка обманывала, казалась в расплывчатой темноте шахматной задачей. Он засунул кое-как книги в шкаф, побрел в гостиную, вяло подумал, что, верно, уже восьмой час, так как буфетчик зажигает керосиновые лампы. Опираясь на трость и держась за перила, в сиреновом пеньюаре тяжело спускалась мать, и лицо у нее было испуганное. «Я не понимаю, почему твой отец еще не приехал», – сказала она и, с трудом передвигаясь, вышла на веранду, стала вглядываться в дорогу между еловых стволов, обтянутых там и сям ярко-рыжим лучом.

Он приехал только к десяти, опоздал, оказывается, на поезд, очень много было дел, обедал с издателем, – нет, нет, супа не нужно. Он смеялся и говорил очень громко и шумно ел, и Лужин вдруг почувствовал, что отец все время смотрит на него, точно ошеломлен его присутствием. Обед как-то слился с вечерним чаем, мать, облокотясь на стол, молча щурилась, глядя на тарелку с малиной, и чем веселее рассказывал отец, тем больше она щурилась. Потом она встала и тихо ушла, и Лужину показалось, что все это уже раз было. Он остался на веранде один с отцом и боялся поднять голову, все время чувствуя на себе пристальный, странный взгляд.

«Как вы изволили провести время? – вдруг сказал отец. – Чем занимались?» – «Ничем», – ответил Лужин. «А теперь что вы собираетесь делать? – тем же напряженно-шутливым голосом, подражая манере сына говорить на вы, спросил Лужин-старший. – Хотите уже спать ложиться или тут со мной посидеть?» Лужин убил комара и очень осторожно, снизу и сбоку, взглянул на отца. У отца была крошка на бороде и неприятно насмешливо блестели глаза. «Знаешь что? – сказал он, и крошка спрыгнула. – Знаешь что? Давай во что-нибудь сыграем. Хочешь, например, я тебя научу в шахматы?»

Он увидел, как сын медленно покраснел, и, пожалев его, поспешно добавил: «Или в кабалу, – там есть карты в столике». – «А шахмат у нас нет», – хрипло сказал Лужин и опять осторожно взглянул на отца. «Хорошие остались в

Петербурге, – спокойно сказал отец, – но, кажется, есть старые на чердаке. Пойдем посмотрим».

Действительно, – при свете лампы, которую высоко держал отец, Лужин нашел в ящике, среди всякого хлама, доску и при этом опять почувствовал, что все это уже было раз – открытый ящик с торчащим сбоку гвоздем, пылью опущенные книги, деревянная доска с трещиной посередине. Нашлась и коробочка с выдвижной крышкой; в ней были щуплые шахматные фигуры. И все время, пока он искал, а потом нес шахматы вниз, на веранду, Лужин старался понять, случайно ли отец заговорил о шахматах или подсмотрел что-нибудь, – и самое простое объяснение не приходило ему в голову, как иногда, при решении задачи, ключом к ней оказывается ход, который представляется запретным, невозможным, естественным образом выпадающим из ряда возможных ходов.

И теперь, когда на освещенном столе, между лампой и простоквашей, была положена доска и отец стал ее вытирать газетой, лицо у него было уже не насмешливое, и Лужин, забыв страх, забыв тайну, вдруг наполнился горделивым волнением при мысли о том, что он может, если пожелает, показать свое искусство. Отец начал расставлять фигуры. Одну из пешек заменяла нелепая фиолетовая штучка вроде бутылочки; вместо одной ладьи была шашка; кони были без голов, и та конская голова, которая осталась после опорожнения коробки (вместе с маленькой игральной костью и красной фишкой), оказалась не подходящей ни к одному из них. Когда все было расставлено, Лужин вдруг решился и пробормотал: «Я уже немножко умею». – «Кто же тебя научил?» – не поднимая головы, спросил отец. «В школе, – ответил Лужин. – Там некоторые играли». – «А! великолепно, – сказал отец. – Начнем, пожалуй...»

Он играл в шахматы с юношеских лет, но редко и безалаберно, со случайными игроками, – на волжском пароходе в погожий вечер, в иностранной санатории, где некогда умирал брат, на даче с сельским доктором, нелюдимым человеком, который периодически переставал к ним заглядывать, – и все эти случайные партии, полные зевков и бесплодных раздумий, были для него небрежным отдохновением или просто способом пристойно молчать в обществе человека, с которым беседа не клеится, – короткие, незамысловатые партии, не отмеченные ни самолюбием, ни вдохновением, и которые он всегда одинаково начинал, мало обращая внимания на ходы противника. Не сетуя на проигрыш, он все же втайне считал, что играет очень недурно и если проигрывает, то по рассеянности, по добродушию, по желанию оживить игру храбрыми вылазками, и полагал, что, если приналечь, можно и без теорий опровергнуть любой гамбит из учебника.

Страсть сына к шахматам так поразила его, показалась такой неожиданной и вместе с тем роковой, неизбежной, – так странно и страшно было сидеть на этой яркой веранде, среди черной летней ночи, против этого мальчика, у которого словно увеличился, разбух напряженный лоб, как только он склонился над фигурами, – так это было все странно и страшно, что сосредоточить мысль на шахматном ходе он не мог и, притворяясь думающим, то смутно вспоминал свой незаконный петербургский день, оставивший чувство стыда, в которое лучше было не углубляться, то глядел на легкое, небрежное движение, которым сын переставлял фигуру. И через несколько минут сын сказал: «Если так, то мат, а если так, то пропадает ваш ферзь», – и он, смутившись, взял ход обратно и задумался по-настоящему, наклоняя голову то влево, то вправо, медленно протягивая пальцы к ферзю и быстро отдирая их, как будто обжигаясь, а сын тем временем спокойно, с несвойственной ему аккуратностью, убирал взятые фигуры в ящик. Наконец Лужин-старший сделал ход, и сразу начался разгром его позиций, и тогда он неестественно рассмеялся и опрокинул своего короля. Так он проиграл три партии и почувствовал, что, сыграв он еще десять, результат будет тот же, и все-таки не мог остановиться. В самом начале четвертой сын отставил его ход и, покачав головой, сказал уверенным, недетским голосом: «Худший ответ. Чигорин советует брать пешку». И когда, с непонятной, безнадежной быстротой, он проиграл и эту партию, Лужин-старший опять, как давеча, рассмеялся и стал дрожащей рукой наливать себе молоко в граненый стакан, на дне которого лежал стерженек малины, всплывший на поверхность, закружившийся, не желавший быть извлеченным. Сын убрал доску и коробку, положил их в угол на плетеный столик и, равнодушно пробурчав: «Спокойной ночи», тихо прикрыл за собою дверь.

«Ну что ж, этого следовало ожидать, – сказал Лужин-старший, вытирая платком кончики пальцев. – Он не просто забавляется шахматами, он священнодействует».

Мохнатая, толстобрюхая ночница с горящими глазками, ударившись о лампу, упала на стол. Легко прошумел ветер по саду. В гостиной тонко заиграли часы и пробили двенадцать.

«Чепуха, – сказал он, – глупая фантазия. Многие мальчишки отлично играют в шахматы. Ничего нет удивительного. Вся эта история просто мне на нервы подействовала. Нехорошо. Напрасно она его поощряла. Ну, все равно...»

Он с тоской подумал, что сейчас придется лгать, увещевать, успокаивать, а уже поздний час...

«Хочется спать», – сказал он, но остался сидеть в кресле.

А рано утром, в густой роще за садом, в самом темном и мшистом углу, маленький Лужин зарыл ящик с отцовскими шахматами, полагая, что это самый простой способ избежать всяких осложнений, благо есть теперь другие фигуры, которыми можно открыто пользоваться. Его отец, не совладев с любопытством, отправился к угрюмому доктору, который играл в шахматы куда лучше его, и вечером, после обеда, смеясь и потирая руки, всеми силами стараясь скрыть от себя, что поступает нехорошо, – а почему нехорошо, сам не знает, – он усадил сына и доктора за плетеный стол на веранде, сам расставил фигуры, извиняясь за фиолетовую штучку, и, сев рядом, стал жадно следить за игрой. Шевеля густыми, врозь торчащими бровями, муча мясистый нос большим мохнатым кулаком, доктор долго думал над каждым ходом, и порой откидывался, как будто издали лучше было видно, и делал большие глаза, и опять грузно нагибался, упираясь руками в колени. Он проиграл и так крякнул, что в ответ хрустнуло камышовое кресло. «Да нет же, нет же, – воскликнул Лужин-старший. – Надо так пойти, и все спасено, – у вас даже положение лучше». – «Да я же под шахом стою», – басом сказал доктор и стал расставлять фигуры заново. И когда он вышел его провожать в темный сад до окаймленной светляками тропинки, спускавшейся к мосту, Лужин-старший услышал те слова, которые так жаждал услышать, но теперь от этих слов было тяжело, – лучше бы он их не услышал.

Доктор стал бывать каждый вечер и, так как действительно играл очень хорошо, извлекал огромное удовольствие из непрекращавшихся поражений. Он принес учебник шахматной игры, посоветовал, однако, не слишком им увлекаться, не уставать, читать на вольном воздухе. Он рассказывал о больших мастерах, которых ему приходилось видеть, о недавнем турнире, а также о прошлом шахмат, о довольно фантастическом радже, о великом Филидоре, знавшем толк и в музыке. Иногда, с угрюмой улыбкой, он приносил то, что называл «гостинцем», – хитрую задачу, откуда-то вырезанную. Лужин, покорпев над ней, находил наконец решение и картаво восклицал, с необыкновенным выражением на лице, с блеском счастья в глазах: «Какая роскошь! Какая роскошь!» Но составлением задач он не увлекся, смутно чувствуя, что попусту в них растратилась бы та воинственная, напиральная, яркая сила, которую он в себе ощущал, когда доктор ударами мохнатого пальца все дальше и дальше убирал

своего короля и наконец замирал, кивал головой, глядя на доску, меж тем как отец, всегда присутствовавший, всегда жаждавший чуда – поражения сына, – и пугавшийся, и радовавшийся, когда сын выигрывал, и страдавший от этой сложной смеси чувств, – хватал коня или ладью, говорил, что не все пропало, сам иногда доигрывал безнадежную партию.

И пошло. Между этими вечерами на веранде и тем днем, когда в столичном журнале появилась фотография Лужина, как будто ничего не было, ни дачной осени, морозящей на астры, ни переезда в город, ни возвращения в школу. Фотография появилась в октябрьский день, вскоре после первого, незабвенного выступления в шахматном клубе. И все другое, что было между ней и переездом в Петербург, – два месяца как-никак, – было так смутно и так спутанно, что потом, вспоминая то время, Лужин не мог точно сказать, когда, например, была вечеринка в школе – где тихо, в уголку, почти незаметно для товарищей, он обыграл учителя географии, известного любителя, – или когда, по приглашению отца, явился к ним обедать седой еврей, дряхлый шахматный гений, побеждавший во всех городах мира, а ныне живший в праздности и нищете, полуслепой, больной сердцем, потерявший навеки огонь, хватку, счастье... Лужин помнил одно совершенно ясно – боязнь, которую он испытывал в школе, боязнь, что узнают о его даре и засмеют его, – и впоследствии, орудуя этим безошибочным воспоминанием, он рассудил, что после партии, сыгранной на вечеринке, он в школе, должно быть, больше не бывал, ибо, помня все содрогания своего детства, он не мог представить себе то ужасное ощущение, которое бы испытал, войдя наутро в класс и увидев любопытные, всё проведавшие глаза. Он помнил опять-таки, что после появления фотографии он отказался ходить в школу, и невозможно было распутать в памяти узел, в который связались вечеринка и фотография, невозможно было сказать, что случилось раньше, что позже. Журнал ему принес отец, и фотография была та, которую сняли в прошлом году на даче: ствол в саду, и он у ствола, узор листвы на лбу, угрюмое выражение на чуть склоненном лице и те узкие, белые штанишки, которые всегда спереди расстегивались. Вместо радости, ожидаемой отцом, он не выразил ничего, – но тайная радость все же была: вот это кладет конец школе. Его упрашивали в продолжение недели. Мать, конечно, плакала. Отец пригрозил отнять новые шахматы – огромные фигуры на сафьяновой доске. И вдруг все решилось само собой. Он бежал из дому – в осеннем пальтишке, так как зимнее, после одной неудавшейся попытки бежать, спрятали, – и, не зная, куда деться (шел колючий снег, оседал на карнизах, и ветер его сдувал, без конца повторяя эту мелкую метель), он побрел наконец к тете, которой не видел с весны. Он встретил ее у подъезда ее дома. Она была в черной шляпе, держала в руках завернутые в бумагу цветы, шла на похороны. «Твой старый партнер

помер, – сказала она. – Поедем со мной». Он рассердился, что нельзя посидеть в тепле, что идет снег, что у тети горят сентиментальные слезы за вуалью, – и, резко повернув, пошел прочь и, с час походив, отправился домой. Самого возвращения он не помнил, – любопытней всего, что, быть может, предыдущее произошло на самом деле иначе, что многое у него в памяти было потом добавлено, взято из его бреда, а бредил он целую неделю, и, так как он был очень слабый и нервный, доктора полагали, что он болезни не переживет. Болел он не в первый раз, и, восстанавливая ощущение именно этой болезни, он невольно вспоминал и другие, которыми его детство было полно, – и особенно отчетливо вспоминалось ему, как еще совсем маленьким, играя сам с собой, он все кутался в тигровый плед, одиноко изображая короля, – всего приятней было изображать короля, так как мантия предохраняла от озноба, и хотелось как можно больше отдалить ту неизбежную минуту, когда тронут ему лоб, поставят градусник и затем поспешно уложат его в постель. Но ничего раньше не было схожего с его октябрьской шахматной болезнью. Седой еврей, побивавший Чигорина, мертвый старик, обложенный цветами, отец, с веселым, хитрым лицом приносивший журнал, и учитель географии, остолбеневший от полученного мата, и комната в шахматном клубе, где какие-то молодые люди в табачном дыму тесно его окружили, и бритое лицо музыканта, державшего почему-то телефонную трубку, как скрипку, между щекой и плечом, – все это участвовало в его бреде и принимало подобие какой-то чудовищной игры на призрачной, валкой, бесконечно расплывавшейся доске.

Когда он выздоровел, его, похудевшего и выросшего, увезли за границу, сперва на берег Адриатического моря, где он лежал на солнце в саду, разыгрывая в уме партии, что запретить ему было невозможно, затем – в немецкий курорт, где отец водил его гулять по тропинкам, огороженным затейливыми буковыми перилами. Шестнадцать лет спустя, снова посетив этот же курорт, он узнал глиняных бородатых карл между клумб, обведенных цветным гравием, перед выросшей, похорошевшей гостиницей, и темный, сырой лес на холму, разноцветные мазки масляной краски (каждый цвет означал направление определенной прогулки), которыми был снабжен буковый ствол или скала на перекрестке, дабы не заплутал медлительный путник. Те же пресс-папье с изумрудно-синими, перламутром оживленными видами под выпуклым стеклом продавались в лавках близ источника, и как будто тот же оркестр на помосте в саду играл попури из опер, и клены бросали живую тень на столики, за которыми люди пили кофе и ели клинообразные ломти яблочного торта со сбитыми сливками.

«Вот видите эти окошки, – сказал он, указывая тростью на крыло гостиницы. – Там имел место тогда турнирчик. Играли солиднейшие немецкие игроки. Мне было четырнадцать лет. Третий приз, да, третий приз».

Он снова положил руки на толстую трость тем печальным, слегка старческим движением, которое ему теперь было свойственно, и, как будто слушая музыку, наклонил голову.

«Что? Мне надеть шляпу? Солнце, говорите, печет? Нет, мне это нечувствительно. Нет, оставьте, зачем же? Мы сидим в тени».

Все же он взял соломенную шляпу, протянутую ему через столик, побарабанил по дну, где было расплывчато-темное пятно на имени шапочника, надел ее, криво улыбнувшись. Именно – криво: правая щека слегка поднималась, справа губа обнажала плохие, прокуренные зубы, и другой улыбки у него не было. И нельзя было сказать, что ему всего только пошел четвертый десяток, – от крыльев носа спускались две глубоких, дряблых борозды, плечи были согнуты, во всем его теле чувствовалась нездоровая тяжесть, и когда он вдруг резко встал, защищаясь локтем от осы, – стало видно, что он довольно тучный, – ничто в маленьком Лужине не предвещало этой ленивой, дурной полноты. «Да что она пристала!» – вскрикнул он тонким, плачущим голосом, продолжая поднимать локоть, а другой рукой сиюсь достать платок. Оса, описав еще один, последний круг, улетела, и он долго провожал ее глазами, машинально отряхивая платок, и потом, поставив потверже на гравий металлический стул и подняв упавшую трость, сел снова, тяжело дыша.

«Отчего вы смеетесь? Они очень неприятные насекомые, – осы». Он нахмурился, глядя на стол. Рядом с его портсигаром лежала дамская сумочка, полукруглая, из черного шелка. Он рассеянно потянулся к ней, стал щелкать замком.

«Плохо запирается, – сказал он, не поднимая глаз. – В прекрасный день вы всё выроните».

Он вздохнул, отложил сумку, тем же голосом добавил: «Да, солиднейшие немецкие игроки. И один австриец. Не повезло моему покойному папаше. Думал, что тут нет живого интереса к шахматам, а попали прямо на турнир».

Что-то понастроили, крыло дома теперь выглядело иначе. А жили они вон там, во втором этаже. Было решено остаться там до осени, а потом вернуться в Россию, и призрак школы, о которой отец второй год не смел упомянуть, опять замаячил. Мать вернулась гораздо раньше, в начале лета. Она говорила, что безумно тоскует по русской деревне, и это длинное-длинное «безумно» с таким зудящим, ноющим средним слогом было почти единственной ее интонацией, которую сын запомнил. И уехала она все-таки нехотя, – да и сама не знала, ехать ли или оставаться. Уже давно началось у нее странное отчуждение от сына, как будто он уплыл куда-то, и любила она не этого взрослого мальчика, шахматного вундеркинда, о котором уже писали газеты, а того маленького, теплого, невыносимого ребенка, который, чуть что, кидался плашмя на пол и кричал, стуча ногами. И все было так грустно и так ненужно, – эта жидкая, нерусская сирень на станции, и тюльпанообразные лампочки в спальном купэ норд-экспресса, и эти замирания в груди, чувство удушья, – быть может, грудная жаба или просто нервы, как говорит муж. Она уехала, не писала, отец повеселел и переехал в комнату поменьше, а потом, как-то в июле, маленький Лужин, возвращаясь домой из другой гостиницы – где жил один из тех сосредоточенных пожилых людей, которые с ним играли, заменяли ему сверстников, – случайно увидел на косогоре, у деревянных перил, в блеске вечернего солнца, отца с дамой. И так как эта дама была несомненно его петербургская рыжеволосая тетя, он очень удивился, и стало ему почему-то стыдно, и он ничего не сказал отцу. А через несколько дней после этого, рано утром, он услышал – отец быстро приближается к его спальне по коридору и как будто громко хохочет. Дверь с размаху открылась, и отец вошел, протягивая, словно отстраняя от себя, бумажку – телеграмму. Слезы лились у него по щекам, вдоль носа, как будто он обрызгал лицо водой, и он повторял, всхлипывая, задыхаясь: «Что это такое? Что это такое? Это ошибка, переврали», – и все отстранял от себя бумажку.

5

Он играл в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Киеве, в Одессе. Появился некий Валентинов, что-то среднее между воспитателем и антрепренером. Отец носил на рукаве черную повязку – траур по жене – и говорил провинциальным журналистам, что никогда бы так основательно не осмотрел родной земли, если б его сын не был вундеркиндом.

Он сражался на турнирах с лучшими русскими шахматистами, играл вслепую, часто играл один против человек двадцати любителей. Лужин-старший, много лет спустя (в те годы, когда каждый его фельетон в эмигрантской газете казался ему самому его лебединой песней, и Бог знает, сколько было этих лебединых песен, полных лирики и опечаток), задумал повесть как раз о таком мальчишке-шахматисте, которого отец (по книжке – приемный) возит из города в город. Начал он книгу в двадцать восьмом году, – вернувшись домой с заседания, на которое он пришел один. Так неожиданно, так живо явился ему замысел этой книги, пока он сидел и ждал в отдельной комнате берлинской кофейни. Пришел он, как всегда, очень точно, удивился, что еще столики не составлены, велел лакею немедленно это сделать, спросил чаю и рюмку коньяку. Комнатка была чистая, ярко освещенная, с натюрмортом на стене: аппетитные персики вокруг разрезанного арбуза. На составленные столики, плавно взлетев, легла чистая скатерть. Он положил в чай кусочек сахару и, грея бескровные, всегда зябкие руки о стекло, смотрел, как поднимаются пузырьки. Рядом, в общем зале, скрипка и рояль играли из «Травиаты», – и от сладкой музыки, от коньяку, от вида белой скатерти старику Лужину стало так грустно, и грусть была такая приятная, что он боялся двинуться, сидел, облокотясь на одну руку и прижав палец к виску, – жилистый, красноглазый старик, в вязаном жилете и коричневом пиджаке. Играла музыка, пустая комнатка была налита светом, алела арбузная рана, – и никто на заседание не шел. Несколько раз он смотрел на часы, но потом так разомлел от музыки и чаю, что забыл о времени и стал потихоньку думать о том о сем, – о приобретенной по случаю пишущей машинке, о Мариинском театре, о сыне, так редко приезжающем в Берлин. А затем он спохватился, что сидит уже час, что скатерть все так же пуста и бела... И в этой светлой, показавшейся ему мистической пустоте, сидя за столом, предназначенным для несостоявшегося заседания, он вдруг решил, что давно не являвшееся писательское вдохновение теперь посетило его.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/vladimir-nabokov/zaschita-luzhina/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

Купить: <https://tellnovel.com/vladimir-nabokov/zaschita-luzhina-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)